

Павел Васильевич Анненков

**Русская современная история
в романе И.
С. Тургенева «Дым»**



Павел Васильевич Анненков

Русская современная история в романе И.С. Тургенева «Дым»

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2572105*

Аннотация

«И.С. Тургенев не изменил своему литературному призванию и в новом произведении, о котором собираемся говорить. Как прежде в «Рудине», «Дворянском гнезде», «Отцах и детях», так и ныне он выводит перед нами явления и характеры из современной русской жизни, важные не по одному своему психическому или поэтическому значению, но вместе и потому, что они помогают распознать место, где в данную минуту обретается наше общество...»

**Павел Васильевич
Анненков
Русская современная
история в романе
И.С. Тургенева «Дым»**

И.С. Тургенев не изменил своему литературному призванию и в новом произведении, о котором собираемся говорить. Как прежде в «Рудине», «Дворянском гнезде», «Отцах и детях», так и ныне он выводит перед нами явления и характеры из современной русской жизни, важные не по одному своему психическому или поэтическому значению, но вместе и потому, что они помогают распознать место, где в данную минуту обретается наше общество, и мысль, которую оно занято перед наметкой последующего своего шага. Самая участь нового романа в публике, вероятно, будет походить на участь многих старых произведений Тургенева: понятый одними, как выражение личных антипатий автора к известным людям и партиям, приветствуемый другими, как горькое разоблачение домашних наших язв, – новый роман, по всем вероятностям, скоро перейдет в общественное сознание, как художественная картина, не искавшая ни указать на кого-либо, ни кого-либо оскорблять, еще менее исце-

лять болезненные организмы, существующие в обществе, а только исполнившие настоящую свою задачу: олицетворить в искусстве известное историческое мгновение, переживаемое обществом. Покуда состоится, однако ж, такой приговор (а он состоялся же по другим произведениям Тургенева, возбуждавшим, в свое время, немалые прения), новый роман нашего автора, конечно, не будет иметь недостатка в укоризнах, упреках и осуждении. Можно уже предвидеть, по некоторым начаткам, самые вины, которые укажутся автору гласно и путем *приватного дознания*: роман, скажут, наговорил много лишнего на тайные стремления и пожелания некоторых литературных партий наших; роман утаил весьма существенные стороны общего нашего развития; роман не представил нам светлого лица, ни отрадного явления, которые вознаграждали бы нас за муку созерцания его мрачной картины, и, наконец, точка зрения романа противна и недостойна знаменитого писателя, который по милости ее утеряти всякую патриотическую стыдливость в своих изображениях. Главные пункты великого процесса, ожидающего, по всем вероятностям, нашего автора, уже помечены и теперь с должной ясностью, но как бы они искусно и тщательно ни были разработаны впоследствии публичными и приватными обвинителями, все-таки останется еще весьма трудный вопрос, грозящий уничтожением всей аргументации преследователей. Им придется отвечать именно на вопрос – слышится ли в романе биение той жизни, которою мы окружены, переливаются

ли в нем те самые краски, которые по одиночке поражали на каждом шагу нам собственный глаз, но которых мы собрать в картину никак не могли, не будучи художниками. Нам сдается, что не всякий, даже заклятый противник романа, решится, в виду его, отвечать на вопрос отрицательно; но чего не бывает на свете? Может найтись толпа, готовая и на этот смелый шаг, особенно, если она будет состоять из людей, не получивших литературного образования, с одной стороны, и из таких, с другой, которые судят о достоинстве произведения по глубине «всемирной скорби» – Weltschmerz – встречаемой у действующих лиц с самого появления их на свет, и по жгучести «всемирной иронии» – Weltironie – на какую они способны. Ничего не будет удивительного, если отрицание подобного рода прошумит и в каком-нибудь уголке журнального мира; но для нас, по крайней мере, не подлежит никакому сомнению, что произведение Тургенева, еще до окончания любопытного процесса, превратится для большинства читающей и образованной публики, как именно это и случилось с романом «Отцы и дети» – в исторический документ, свидетельствующий о современной нам эпохе столько же, сколько и всякие другие, официальные и неофициальные документы, нам доселе известные.

С этой точки зрения мы и намерены разобрать повесть «Дым», прибавив ко всему сказанному, что она имеет значение весьма серьезного документа еще и по другому качеству, кроме живописи нравов и понятий, а именно, по необычай-

ной искренности своего изложения, по характеру душевной исповеди и твердого убеждения, который сообщен ей автором. Такие документы особенно ценны для исследователей известных эпох и культуры.

Уже вскоре после появления романа в печати замечено было, что часть его, посвященная анализу русских направлений, изображению нравов, характеристике лиц и партий, желающих дать свою окраску, сообщить свой дух всему строю насущной нашей жизни, написана бойчее, резче, энергичнее, чем все, что в этом роде написано доселе Тургеневым. Он так приучил читателей к тонким чертам, мягким очеркам, к лукавой и веселой шутке, когда ему приходилось смеяться над людьми, к изящному выбору подробностей, когда он рисовал их нравственную пустоту, что многие не узнали любимого своего автора в нынешнем сатирике и писателе, высказывающем все свои впечатления прямо и начистоту. Некоторые даже спрашивали: что с ним сделалось? – С ним ничего не сделалось, кроме того, что на него снизошла минута, часто являющаяся в жизни замечательных общественных деятелей, когда потребность быть искренним и откровенным превосходит у них все другие соображения. Такие минуты хорошо знакомы были Пушкину, Гоголю, Руссо, Гёте и многим другим писателям, и приход их обыкновенно совпадает еще с каким-либо более или менее важным событием внутренней жизни тех лиц. Относительно Тургенева следует прибавить, что к такой внутренней, субъективной правдивости

мысли и речи призывало уже его, кроме многого другого, и самое положение дел и умов в России. Никогда еще, может быть, не чувствовалась у нас так полно и сознательно крайняя необходимость для каждого человека, уважающего свое дело и призвание, занять то самое место, которое, в ряду других, он *должен* занять. Тургенев только подчинился условиям своего времени, когда выбрал себе «место», обнаруживающее его нравственные влечения, и сделал притом свой выбор прямо, откровенно, без наглости вызова и без низости лицемерных оговорок. То, что некоторые расположены считать у него непривычным и отчасти непристойным хлопанием сатирического бича, есть не более, как его расчет с своим прошлым; то, что иным кажется нападками, личностями, даже пасквилями, есть не более, как старая, давно сделанная проверка зрелища, которого он долго сам был свидетелем.

Тургенев в новом романе сводит правдивый итог впечатлений за последнее время своей многосторонней жизни, и мы думаем, что после этой работы образ его нисколько не уступит в нравственном значении тому симпатическому образу, который сложился в большинстве публики на основании прежних его произведений. Если вспомнить, что в некоторых случаях он отступился, ради истины, от обычных художественных приемов своих, на успех которых всегда мог положиться, то уважение наше к новому проявлению его деятельности должно еще увеличиться. Единственно из потребности выразить вполне свое мнение решился он

осветить яркими, скажем, багровыми полосами света, грубо и прямо кинутыми на уродливую сторону выводимых лиц, – некоторые сцены своего романа, которые мог бы легко окаймить полупрозрачной атмосферой, поглощающей добрую часть настоящего выражения физиономии. Свидетелями его новой «манеры» остаются знаменитая сцена пикника на террасе Баденского замка, вечер у Ратмировой, заседание у Губарева и проч. Все это написано им непосредственно с натуры, как случилось ему писать прежде только в виде исключения. Он понасиловал обычные свойства своего таланта для того, чтоб сознательно не упустить резкие черты жизненной правды, как она ему представилась. Критика ли, общество ли не заметят этого явления?

Но искренности еще мало для писателя. Это не такой флаг, который во всяком случае покрывал бы товар или упрочивал ему верный сбыт. Как ни почтенно это качество само по себе, все его нравственное значение зависит от того, что оно служит проводником. Достоинство и важность содержания – вот что требуется еще от искренности. Посмотрим же, что говорит нам у Тургенева поэтическая завязка романа, обработанная везде, где являются человеческие сердца, человеческие страсти и душевная борьба, совершенно иначе, чем полемическая сторона повести, а именно – с невероятной тониной анализа, с жаром и вниманием юношеского пера, и что говорит само созерцание романа, представителем которого служит второстепенное лицо, некто По-

тугин, играющий тут роль древнего хора и, подобно ему, ведущий речь отчасти за себя, весьма часто за автора и постоянно, неуклонно за литературную партию, олицетворением которой он и должен считаться?

Потугин – представитель известного созерцания, Потугин – олицетворение литературной партии! Да как же это может стать? Посмотрите – есть ли в нем что-либо отвечающее понятию о главе и руководителе школы или какого-либо распространенного учения? Где же у него величие представителя; самоуверенность наставника, всеми признанного, наслаждение самим собой, как это бывает у людей, вознесенных над собратьями? Разве мы не видим, что это робкий, сосредоточенный в себе полусеминарист, полуразночинец, который большею частью скромно молчит, а вступая в разговор с другими, страшно конфузится при начале? Нам знакома отчасти и его жизнь. Он дозволил себе однажды поползновение – правда, также робко, застенчиво, как все, что он делает, – возвести из низменной сферы, где он влачит свое существование, молящие глаза кверху и поместить самое глубокое чувство своего сердца на голову высоко стоявшей над ним женщины. Что же вышло? Он платится за одно это поползновение годами покорных и неоцененных услуг, целым рядом безропотных, молчаливых и нескончаемых жертв. Какой же представитель, что в нем напоминает «вождя оппозиции» или «премьера» господствующей партии, и как мог Тургенев именно в уста подобного человека сложить все са-

мые меткие, бойкие, горячие сатирические выходки, часть которых, может быть, и не износится никогда пациентами, их вызвавшими?

Поступив таким образом, Тургенев, однако ж, по нашему мнению, обнаружил именно весь художнический свой инстинкт. Потугин – отчаянный «западник», продолжающий лучшие предания нашей литературы 40-х годов. Он делает это в эпоху реакции против них, в то время, когда люди озлобились против вековечного, нескончаемого учения, на которое присуждались этой литературой, и против послушничества, неизбежно с ним сопряженного. Носить одно прозвание ученика европейской жизни и цивилизации всю жизнь, на бессрочное и неопределенное время, сделалось уже неумолимо русскому образованному миру. Неодолимая жажда повышения, выхода в иное, более высшее и почетное звание, на каких бы то ни было основаниях и резонах, почувствовалась всем обществом сразу. Движение имело, как всякое социальное движение, свою законную причину и свою долю необходимости. Оно было вызвано отчасти надменностью, нестерпимым самохвальством ближайших наших учителей из немецкой братии, которая и не скрывала своего презрения к обществу, опекаемому им на всех пунктах. Сюда присоединилось еще и влияние кровной ненависти Европы к государству, которое никогда не жило с ней общей жизнью, вошло, как проходимец, в ее состав, помимо ее воли и гаданий, и располагает остаться на своем месте, не слушая

ругательств и проклятий. Потугин умалчивает о всех этих вызывающих причинах, обращая только внимание на полученные результаты движения. Скромность во всяком случае не похвальная, но представители партий всегда так делают. О праве их так делать мы скажем несколько слов впоследствии. Может быть, Потугин даже неясно и сознает прямые источники свершившегося переворота: они заслонены для него последующим развитием дела. Он ясно видит только, что ученики, восставшие против своих менторов, у них же и выучились настоящим приемам восстания – низвержению мешающих почему-либо авторитетов, искусной диалектике, логическому анализу и полемике. Перед ним также проходили и те формулы, которые торжествующее восстание, уже уверенное в своем успехе, придумывало одну за другою, как оправдание поднятого ею знамени и как доказательство своей способности заменить обветшалые теории прежних учителей общества свежими и новыми положениями. Первоначально формулы эти носили все признаки поспешности: они были отчасти материального, отчасти сентиментального содержания и скоро пали, покинутые всеми. Трудно было и сохраниться положениям, например, вроде: «мы всех шапками закидаем», «земля наша обильна, и потому мы ни в ком и ни в чем не нуждаемся», или, наконец, такому афоризму: «история наша написана не кровью людской, как другие, а слезами народа, и мы заслуживаем быть учителями человечества по смирению, терпению и выносливости, которые от-

личают наше племя». Афоризмами подобного рода, теперь уже окончательно преданными забвению, пробавляются еще некоторые из прежних бойцов, оставшихся на арене, старившихся и повторяющих эффектную тему своей молодости, но влияния они не имеют никакого. Гораздо более почастливилось другой формуле, найденной тоже в жару поголовного восстания на европейское влияние. Ее можно выразить в следующих словах: «В русском народе заключается такое богатство духа и разума, что от него и должно ожидать оснований, на которых следует утвердить просвещение вообще: тот только и достоин носить звание учителя, кто чувствует в самом себе мудрость народа и способен сообщить некоторые черты ее». На этом афоризме Потугин и остановился: с ним только и воюет. Для того, чтоб несколько оправдать или, лучше, – пояснить его злобную речь, вспомним, что вскоре после обретения вышеупомянутой формулы произошло торжество неописанное, баснословное, устроилось пирование общее, шум которого продолжается доселе, да и не скоро еще кончится. С тех пор люди европейской школы и европейских воззрений, хотя бы они всеми силами души отвергали наглость иноземного господства над русским обществом, под предлогом науки, хотя бы горячо любили тот самый народ, во имя которого раздавались многочисленные «отлучения» — все эти люди, говорим, были отодвинуты на задний план. Шум торжества, праздновавшего восстановление – *resorgimento* – «народного духа», заглушал все их сло-

ва, оправдывания и предостережения. Напрасно утверждали они, что приемы для воспитания и получения плодов цивилизации одни и те же у всех европейских народов: им отвечали, что только Фамусов умел *принанять* для своей дочери вторую мать в m-me Розье, но что образование и способы образования народ, имеющий целые века своей обычной культуры, создает сам или, по крайней мере, призван создать. «Западники» умолкли и разошлись по сторонам; партия была рассеяна; члены ее, очутившиеся на различных поприщах общественной деятельности, принялись, по мере сил и по мере способов, представленных им, работать на пользу просвещения и развития в отечестве. Влияние их чувствовалось везде, самих их не было видно: они отказались от шума и от имени. Какая же была возможность автору выбрать эффективного представителя для разбитой партии? Где бы он нашел в ней блестящего «*реномиста*», как величают немцы человека, живущего рукоплесканиями и способного собирать вокруг себя толпу поклонников с грохотом, треском и овациями; где бы он взял в уничтоженной партии ту смесь непогрешимости патентованного муллы, толкующего закон хитрости, диалектика, сбивающего с толку своих противников, и искусного дипломата, вывертывающегося из всех затруднений – которую торжествующие литературные кружки любят осуществлять в своих представителях? Ему оставалось заявить, при посредстве искусства, что основная мысль европофилов нисколько не умерла на Руси, но что она живет

преимущественно в мыслящих людях, много видевших на своем веку, сильно испытанных жизнью, богатых опытом и наблюдением. И вот каким образом случилось, что представителем некогда знаменитого кружка западников явился, после Белинского и Грановского, скромный, безвестный, ничем себя не заявивший, но глубоко убежденный полусеминарист и полуразночинец.

Пойдем навстречу вопросам, возникающих отовсюду по поводу романа. Зачем было Тургеневу поднимать старый спор, кончившийся благополучно, хотя и очень недавно – со времени редакционных комиссий, если не ошибаемся, – полным примирением обеих партий, к великому удовольствию образованной публики. Известно, что торжествующая сторона с тех пор признала возможным допустить необходимость примирения «народной мудрости» с европейским смыслом и общечеловеческими началами, а бывшие противники ее, взамен этой любезности, признали настоятельную потребность совещаться во многих случаях с привычками, убеждениями и представлениями народных масс. Чего же лучше желать? Если от времени до времени и являются у нас отголоски прошлой, еще недавней борьбы, если там и сям какой-нибудь ревнитель народности бросит грязью в почтенное имя уже замолкшего деятеля западной партии, если, наоборот, какой-либо неумеренный «западник» разразится внезапно хулою на светлые личности, дорогие не одному кругу из знакомых и друзей – то это ничего не доказы-

вает. Генеральная баталия уже кончилась на всех пунктах; досадные перестрелки, нарушающие общее затишье, исходят из прежних *сорвиголов*, которых годы не могли укротить, и которые продолжают, не будучи в состоянии успокоиться, обмениваться ударами уже от одного своего имени и на свой страх. Так зачем же было – повторяем вопрос – воскрешать в романе 1867 года дух, приемы, сущность полемики 40-х годов и снова начинать битву, но теперь уже перед пустыми лагерями и с двойной опасностью: во-первых, прослыть врагом спокойствия и порядка, с таким трудом водворенных, а во-вторых, иметь подобие писателя, подогревающего свое произведение едкими воспоминаниями прошлого – на манер наших романистов и драматургов, обращающихся за тем же к упраздненному крепостному праву?

Мы позволяем себе, однако ж, думать совсем наоборот, что настояла полная, совершенная необходимость поднять снова старый, забытый спор, и что Тургенев, выдвинув его теперь вперед при самом начале романа, как будто он никогда не разрешался или разрешился преждевременно, тем самым показал глубокое понимание, верное художественное чутье современных задач.

Потугин, в одну из минут своего злобного вдохновения, объявил, что он тогда только признает за русским обществом способность к творчеству и самодеятельности, когда оно изобретет *зерносушилку*, совершенно необходимую ему и ненужную в Европе. Но что это за вызов? Пишущий эти

строки сам видел на Волге образец доморощенной зерносушилки, который, правду сказать, имел еще довольно аляповатый вид, но с годами и опытом, вероятно, получил более стройную форму и все нужные качества для исполнения своего предназначения. Нет ничего мудреного русскому человеку выдумать зерносушилку, особенно с помощью американских образцов того же инструмента. Зерносушилка будет нами сочинена, без участия Европы – в том нет сомнения: не труднее же она коноводки, амосовских печей и прочего, что русский человек сочинил вполне уединенно и независимо. Напрасно Потугин и не предложил других условий для своего публичного покаяния и не сделал, например, вызова русскому образованному обществу сочинить, без содействия европейской цивилизации, что-либо похожее на публичные и домашние нравы, т. е. что-либо, заслуживающее названия нравов в человеческом смысле. Он мог бы также задать и другую тему обществу, например, изобрести, без употребления в дело европейской мысли и европейского развития, что-либо похожее на жизненные руководящие *идеалы* личного и семейного существования, которые достойны были бы признания и, в то же время, способными оказались устроить разумно внутренний быт людей, склад их мыслей и самый способ выражения – язык их сношений между собою. Если бы приобретение всего этого зависело от восторженного и – прибавим – вполне законного поклонения доблестям избранных русских людей, которые засвидетельствованы исто-

рией, или от невольного удивления к силе народного дара, создавшего громадное государство, имеющее не менее громадную будущность перед собой, или от поразительных примеров деятельной жизни нашего великого племени, верующего в себя и никогда не унывающего, – то зачатки достойных нравов и благородных жизненных идеалов оказались бы повсеместно. Но именно очевидное, изумляющее отсутствие тех и других, за малым исключением, почти во всех слоях общества, во всех обычных отправлениях, публичной жизни нашей, даже иногда в лицах, одушевленных горячим желанием добра, и в таких, которые, по-видимому, обладают высоким светским образованием – ясно свидетельствует, что обыкновенных нынешних уроков наших нам еще мало, и что мы лишены какого-то весьма важного двигателя развития и образованности. Когда роман Тургенева представляет нам живые образцы некоторых существующих теперь нравов и понятий на Руси, он обнаруживает только пустоту, оставленную между нами и этим отсутствующим двигателем. Значение его особенно понижается после рассказа о том, как выразилась чистая самодеятельность русской жизни и, вдобавок, на высших ее ступенях! С одной стороны, это великолепный Губарев со своей командой из нигилистов и социалистов низшего порядка; с другой – «благоухающий» генерал Ратмиров со своими сослуживцами и ровесниками, готовыми ринуться на все уже существующие завоевания гражданственности и порядка. Каковы они с виду и в своих бе-

седах, читатель может увидеть в создании Тургенева. Картина, им написанная, становится еще мрачнее при мысли, что обе партии стараются, каждая с своей стороны, овладеть влиянием, получить мысль и нравственное воспитание общества в свое распоряжение, и что между ними обеими ничего нет, кроме кликов празднества, все еще продолжающегося, по случаю победы «народного духа» над его отрицателями.

Можно попытаться, однако ж, взять Потугина с другой стороны и ослабить его желчную аргументацию, показав, что, в сущности, она не имеет цели и направлена на борьбу с призраками. Потугин стоит за сближение с Европой, а кто же не видит, что наше сближение с Европой только увеличилось за последнее время, что мы никогда не переставали изучать все ее порядки, а теперь более, чем когда-либо. Проповедуя необходимость общения с ней в духе и разуме, Потугин, по французской пословице, занимается ломанием отворенной двери. Мы по уши стоим в европейской цивилизации! Разве не ей приписывали у нас появление самого нигилизма, хотя Европа ни в каком случае отвечать за него не сможет, так как он есть собственно произведение невежественных отношений к ее серьезным социальным учениям и весьма солидному реалистическому направлению в науках. Но, кроме того, чего мы не перенимали и не перенимаем у нее доселе? Разве не переводим мы и не издаем каждый день произведений ее знаменитых мыслителей, ученых, моралистов и проч.,

что дает нам возможность наслаждаться всеми их положениями и страстно принимать их к сердцу? Переходя к низшему порядку явлений, спрашиваем: есть ли в Европе какое-нибудь общественное увеселение, какая-нибудь народившаяся молва, какая-нибудь светлая идея, хоть, – например, идея о вводе героинь *demi-mond'a*¹ в жизнь высших и средних кругов общества, – которые не нашли бы тотчас отголоска и повторения на нашей почве? С достоверностью можно сказать, что нет меры, выдуманной на западе для устройства толпы по известному порядку и на известный образец, нет бойкой статьи и искусной ораторской речи, закрепляющих что-либо в готовую форму, с которых, при самом их появлении, не были бы сняты у нас верные списки для домашнего употребления, при случае. Можно идти и еще далее в вопросах. Трудно сомневаться, например, в том, чтоб успех какого-либо предприимчивого человека во Франции или где в другом месте, смело расталкивающего людей кругом себя и опрокидывающего, для достижения одних собственных целей, все их верования, лучшие надежды и стремления, – не заставлял некоторые головы мечтать и здесь о таком же успехе. Наконец, тесный, неразрывный союз наш с Европой подтверждается и явлениями, в высшей степени необычайными. Разве мы не знаем людей, до того породнившихся со всеми взглядами соседнего нам Запада, что они его глазами смотрят и на Россию, осуждая ее усилия к сохранению себя в це-

¹ полусвет (фр.)

лости и единстве, потому что и сосед не одобряет этих усилий, не считает нужными мер, принимаемых для возвышения и укрепления русской национальности, потому что и сосед не считает их особенно полезными и желательными. Какого же большего сближения с Европой нужно Потугину, и с чего дозволил ему почтенный автор, создавший этот замечательный тип, распространяться о необходимости любовных отношений к Западу, когда они уже достигают иногда степени, близкой к самозабвению и экстазу, и подчас напоминают детскую игру «в гуси-летели», когда ребенок, повторяя движения руки своего партнера, поднимает палец даже и на его слова: «собаки летели»!?

Да, мы находим, что Литвинов слабо отвечал Потугину, когда, в видах охлаждения его восторга к иноземным чудесам развития и к материалам для нашего подражания, существующим в Европе, указал ему только на игорные дома и на толпу *кокодесок*, французских остроумцев и наших князей и дворян, их окружающую. Благодаря слабости возражений, можно подумать, будто Литвинов считает игорные дома единственным пятном Европы: отсюда такой вывод, что если Пруссия и Бельгия согласятся, например, закрыть их на своих территориях, то никакого пятна на Европе уже не останется более. Нет, у ней есть пятна покрупнее, и притом такие, которые служат признаками серьезных болезней, и от которых она силится освободиться со всеми муками страдающего организма. Но, может статься, – и это всего вернее, – что

Литвинов, предлагая слабое свое вознаграждение, невольно чувствовал, что собеседник его говорит не о той Европе, которой мы подражаем, а о той, которую мало видим и почти не знаем. Боже мой! Какая же это малоизвестная нам Европа, нам, исколесившим ее во всех направлениях и изучившим ее более своей родины? Да вот та самая, на которую автор романа только и указывает своим читателям через посредство Потугина. Отличие ее от видимой нами Европы состоит в том, что, среди множества отрицательных, часто возмутительных явлений своего быта, иногда под гнетом грубого давления материальной силы, еще далеко не устроенной ею, иногда в пылу национальных увлечений, подвигающих ее на вопиющие несправедливости, – она занята устройством человеческой личности, ближайшей среды, ее окружающей, и возвышением духовной природы человека вообще. Нашим туристам по Европе (да и одним ли туристам?) кажется, что знаменитые ее университеты, богатейшая литература и музеи, сохраняющие гениальные произведения искусств, направлены к тому, чтобы украшать жизнь, и без того достаточно красивую, избранных классов, или производить как можно более ораторов, депутатов, профессоров, ученых и писателей, между тем как они служат орудием у той малоизвестной нам Европы, о которой говорим, – поднять мысль самого последнего человека в государстве. Генрих IV, по свидетельству, впрочем, крайне подозрительному своих современников, определял назначение внутренней и внеш-

ней политики Франции единственно целью – доставить каждому из его подданных возможность иметь по праздникам «курицу» на своем столе. С тех пор, кроме этой «курицы», вошедшей из программы всех партий и всех европейских правительств, малоизвестная нам Европа нашла и другое назначение для политики государств. Главной ее задачей она поставляет точное, общедоступное определение идей нравственности, добра и красоты, и такое распространение их, которое помогло бы самому скромному и темному существованию выйти из сферы животных инстинктов, воспитать в себе чувства справедливости, благорасположения и сострадания к другим, понять важность разумных отношений между людьми и, наконец, получить способность к прозрению *идеалов* единичного, семейного и общественного существования. Последняя часть задачи, не во гнев будь сказано нашим реалистам, считается при этом и самой важной, существенной ее частью. Насколько успела эта вполовину скрытая от нас Европа – осуществить свою неписаную, нигде не заявленную, но, тем не менее, страстно исполняемую программу – составляет опять другой вопрос, хотя признаки таинственной работы, ею проводимой, обнаруживаются уже и для глаз, мало различающих предметы, которые им сначала не указаны. Появление у нас таких энтузиастов иноземщины, как Потугин, объясняется именно тем, что они успели прозреть эту, а не другую какую-либо Европу; да под ее же влиянием написан и разбираемый нами роман, чем до-

статочным подтверждением служит история Ирины Ратмировой и Литвинова, вся направленная к тому, чтобы показать, как складывается жизнь, даже на высших ступенях общества, если она лишена прозрения и творчества *идеалов* и их поддержки. На этой истории мы теперь и остановимся.

Это весьма любопытная и поучительная история Прежде всего выступает в ней вперед одно из самых зрелых созданий Тургенева, образ героини любовного романа, ею же и завязанного, Ирины Ратмировой. Что это за женщина? Трудно себе представить более скудный запас предметов для мышления в образованной женщине, при более благородной натуре и при более ослепительных качествах тела. Зато Ирина и опирается единственно на свой смелый, честный и откровенный характер, который, однако ж, не может дать ей, несмотря на все благороднейшие порывы ее души, ничего, кроме сознания своего превосходства перед другими, да пустых наслаждений гордости и мести. Большая часть прежних героинь Тургенева были, по-своему, мыслящие головы (вспомним Асю, Лизу «Дворянского гнезда»), даже глубоко мыслящие головы, и читатели, конечно, не забыли того обаяния, которое они производили вообще на публику, благодаря столько же их женственной грации, сколько и выражению своеобразной идеи, игравшей на их физиономиях. Последней черты мы именно и не можем уловить в образе Ирины. Она осталась такой, какой вышла из рук благодатной природы, показавшей к ней истинно материнскую щедрость: ни

семья, ни общество, ни жизнь ничего ей не дали сверх того, и сама она ничего не приобрела. Редко случалось нам в литературе нашей встречать такое поразительной изображением томлений одного страстного сердца по какой-то лучшей жизни, к которой, однако ж, оно совершенно неспособно. Не пожалел же автор и труда для того, чтоб достойным образом обрисовать этот тип с двойным его характером, способным дать высокое понятие о природных, естественных силах почвы, его породившей, и в то же время обнаружить всю беспомощность ее образования и недостаток воздуха для самого существования подобных типов.

Ирина презирает и ненавидит окружающий ее мир, который вознес ее, однако ж, на высшую ступень благосостояния, почестей и довольства. Никакой благодарности она не чувствует к нему, и по одной причине. Он нем и молчалив перед нею, как могила. Чем более дает он ей из того, что только может дать, — средств, денег, комфорта, тем настоятельнее становятся ее требования, взятые из другого порядка идей, и на которые окружающий ее мир может отвечать только вопросом: «да чего же ей надобно еще?» И вопрос этот, во всей его оскорбительной наглости, именно и предлагается ей постоянно, ежедневно, немым, но несомненным образом, всеми ее окружающими. У них нет средств представить себе даже мысленно ее положение. Душевный голод, ее поедающий, кажется им просто темной, загадочной болезнью женского организма; но для Ирины муки этой болезни тем ощутитель-

нее, что она ясно сознает – почти физически чувствует в себе присутствие всех качеств ума и сердца, которые обыкновенно спасают от нее людей. Неожиданная встреча в Бадене с Литвиновым, прежним своим женихом, давно покинутым ею, сразу возбуждает в ней предчувствие, что в этом случайном обстоятельстве заключается для нее единственный последний исход из того состояния духовного сиротства, в котором она находится. С невыразимой нежностью прильнула она к воображаемому своему спасителю, Литвинову, и в награду за первое слово сочувствия, за один призрак настоящей, полной жизни, за одно обладание человеческим обликом, от которого она уже отвыкла, Ирина отдается ему вся, со своей честью, со своим именем и со своей будущностью. Но сделав это, она останавливается. Литвинов, пожертвовавший ей невестой и целым, уже определенным строем жизни, продолжает опрометчивую свою игру и требует у нее разрыва с миром, бегства и вечных связей с собой. Разница между ними обнаруживается тотчас: покуда он бродит во тьме, она уже умеет трезво распознать, сквозь весь чад и облако неподдельной страсти, голую истину: ей невозможно покинуть места, к которому она прикована всеми своими привычками; она способна пожертвовать жизнью, оказать примеры героической решимости, бороться с судьбой до последнего издыхания, но только на своем, на одном – презираемом месте – и нигде более!

На что же сводятся после того сношения Ирины с Лит-

виновым? Она прямо высказала свой взгляд на них, ужаснувший Литвинова, когда предложила ему остаться другом ее сердца без дальнейших условий. Спрашивается: какую же помощь, в конце концов, оказывают Ирине все силы, способности и преимущества, которыми осыпала ее природа без расчета и бережливости? Дело в том, что как бы ни велики были дары природы, всегда отыщутся в нравственном существе человека сторонние и темные уголки, куда не запала ни одна крупинка этих даров. Все такие закоулки внутреннего нашего мира уже очищаются мыслью, веянием идей, существующих в обществе, собственной работою человека над собой. Самыми великими целителями этих душевных тайных недугов признаны повсеместно жизненные идеалы. Где их нет, где они не могут народиться, где вместо них или под их именем являются уродливые исчадия испорченной и сластолюбивой фантазии – там нет и светлых личностей. Спасение человека зависти от них. Ирина представляет реальный пример благородной натуры, лишенной даже предчувствия той единственной силы, которая могла бы дать содержание ее жизни. Она вся состоит из стремлений, чаяний и прозрений, которые никак не могут сложиться в мысль и правило. По милости этого отсутствия жизненного идеала она лишена и всякого оружия для борьбы с собой, хотя необычайная зоркость сознания и совести, отличающая ее, помогает ей ясно видеть всю нравственную свою беспомощность. Таким образом, несмотря на все богатства своего сердца и сво-

ей природы вообще, она ничем не связана с душевным миром. Самый простой, скромный, незатейливый жизненный идеал помог бы ей освободиться, по крайней мере, от слепой привязанности к внешним изысканным формам существования, чего она теперь не в состоянии сделать при всем своем уме и характере. Нельзя забыть одной сцены романа, когда перед первым своим выездом на бал в Москве, решившим ее судьбу, Ирина берется за конец ветки, украшавшей ее молодую голову; и ждет только слова Литвинова, чтоб сорвать ее и отказаться от вечера. В эту минуту она лучше своего пламенного обожателя, тогда еще студента, прозревала будущность и чувствовала, что делает выбор, между простой жизнью, озаряемой любовью и мыслью, и жизнью в шуме и блеске пустых призраков; но Литвинов не сказал ожидаемого слова, и она ринулась в поток, который принес ее в объятия Ратмирова. Этой превосходной сцене можно противопоставить только другую в конце романа, когда спустя несколько лет и перед тем же Литвиновым, успевшим поумнеть с тех пор, но все еще много уступающим ей в понимании вещей и положения, Ирина плачет искренними слезами любви, раздирая и топча ногами великолепные кружева, с которыми, однако ж, расстаться не может. Имей эта женщина возможность обрести с какой-либо стороны светлое представление жизни, руководящий и обязательный нравственный идеал, она, может быть, не сделалась бы непременно Литвиновой, но не была бы и Ратмировой, а главное, не прошла бы всего

того, что ей пришлось пройти!

После всего сказанного рождается, сам собою, вопрос – откуда же берет Ирина ту власть над людьми, то неодолимое обаяние, которое захватило Литвинова тотчас, как он подпал снова под действие этой чарующей силы, которое разбило в прах все его мудрые предначертания, и не только разбило их, но заставило его изменить еще самым священным обязанностям, превратило его почти в лжеца и обманщика. Вместе с Литвиновым, конечно, только без горестных последствий, им испытанных, – обаянию этому невольно подчиняется и сам читатель романа. Одна красота, как бы превосходна ни была она изображена писателем, не имеет средств согласить все мнения и сообщить всем, или, по крайней мере, значительному большинству читателей одно и то же ощущение, потому что понимание и представление физической красоты разнообразны до бесконечности. В Ирине подчиняющее начало есть дух независимый, который отвечает протестом и горьким обличем на то, чему она сама уже покорилась; это неумолкаемый гнев благородного сердца против пошлости и ничтожества, часто обращенный на себя, не заговариваемый ни лестью, ни подкупом, ни коварными оправданиями самолюбия. Приближаясь к Ирине, люди испытывают такое же чувство, как при встрече с опасностью. От этого чувства не был свободен и Литвинов, завязывая с ней вторичное знакомство, как никогда не был свободен от него и муж ее. Вообще, надо сказать, что все создание этого образа изуми-

тельно по своей целостности: нигде нельзя найти в нем спайки, которая указала бы место, где произошло механическое сближение двойного характера, его отличающего. Процесс его создания напоминает почти химический процесс, когда из соединения различных минералов получается как бы новый, самостоятельный минерал. Тайна такого производства образов уже утеряна с Пушкина и его школы, последним представителем которой остается, вместе с И.А Гончаровым, и автор романа. Как бы то ни было, но Ирина, благодаря художественному воспроизведению типа, выражает уже не одно какое-либо частное лицо, выхваченное из жизни, говорит не за себя только, но делается выражением и олицетворением целого строя жизни в известном отделе общества.

Не менее важен и любопытен, в смысле изъяснения некоторых сторон современной нашей истории, и характер Литвинова. К нему одному Ирина подошла простой, любящей, отчасти даже молящей женщиной, и этого было довольно, чтобы раскрыть прежние раны его сердца. Да это еще бы ничего. Приближение ее достаточно было, чтобы уничтожить все здоровые жизненные начала и правила, выработанные им с таким трудом дома и за границей. Он мгновенно сделался тем, чем мы его видим. Очевидно – честный, строгий к себе и размышляющий Литвинов принадлежит к числу русских людей, которых всегда можно застать *врасплох*. Воспоминание о первой любви еще плохо объясняет в нем ту невыразимую степень увлечения, какой он поддался: все-таки по

ней прошел уже долгий промежуток времени, занятый серьезным трудом, что должно было умерить ее ход. Ничего этого не случилось, и нам остается предполагать в увлечении Литвинова, сразу достигающей последних границ возможного, какое-либо особенное психическое свойство, общее ему со многими из его соотечественников. В самом деле, герой этот напоминает нам тех спокойных, часто весьма здравомыслящих наших людей, которые необъяснимым образом оказываются замешанными в планы и предприятия, противоречащие их настоящему характеру, образу мыслей и привычкам суждения. Сколько таких примеров непонятно-го, противоестественного увлечения представила нам современная наша история за последнее время! Раз обнаружившееся или возникшее чувство любви ведет Литвинова по первому призыву мимо всех существующих дорог. Он должен достигнуть геркулесовых столбов нелепости (бегство с Ириной в Италию, без всякой материальной возможности к тому), прежде чем остановился, да и то не он останавливается, а его покидает в последний час сама Ирина, как было сказано. Можно было бы объяснить его поведение слепой страстью, но и слепая страсть имеет еще свою логику, свое представление лучшего исхода для себя. В Литвинове это уже не просто слепая страсть, а с примесью психического порока, свойственного нашему «образованному миру». Раз попав на стезю безумия, Литвинов должен изжить безумие до конца. Прежде чем он увидит перед собой зияющую пустоту, пре-

дел всякого реального существования и всякой возможности жизни – лихорадка его не покидает. Только тогда он падает и исцеляется.

Что касается до нравственной сущности этого лица, помимо черты, упоминаемой нами, то все соображения о его «индифферентизме», о неприличной воздержанности его слова при встрече с противными ему мнениями и делами, и прочее в том же роде, кажутся нам лишенными достаточных оснований. Литвинов – просто зритель в комедии, разыгрываемой губаревской и ратмировской партией в Бадене. У него есть свое важное дело, как ему кажется, а у кого есть что-либо похожее на дело, тот неохотно расточает себя и свою мысль по сторонам и на побочные дела. Он сосредоточен в себе и молчалив, как человек, имеющий свой запас наблюдений и свою ношу материалов опыта и науки, которые нужно еще поместить достойным образом. В таком настроении он слушает и горячую речь Потугина. Автор романа, очевидно, имел в виду представить знакомое нам лицо, русского человека, приготовляющегося к какой-то задаче, по-видимому, весьма твердо намеченной им для себя, который приобрел даже все внешние очертания серьезного и порядочного человека, достигнув уже и понимания условий дельного существования на земле. С обычным своим тактом автор не говорит только, что выйдет из всего этого добра. Он ограничивается указанием в Литвинове человека, так сказать, *разнородных возможностей* и совсем умалчивает о его верова-

ниях, политических убеждениях и проч., потому что все это должно развиваться у него с началом жизненного труда, когда только и развиваются все верования и убеждения, достойные внимания. А затем автор рассказывает нам печальную историю гибели, или, по крайней мере, остановки дальнейшего развития своего героя. В самую последнюю минуту – в двенадцатый час – долгого европейского искуса, пройденного Литвиновым, он забывает все, к чему готовился, поворачивает совсем в другую сторону и уносится за тридевять земель от всех своих целей и намерений. Это ли наговор и напраслина, взведенная на русский быт, да еще эпохи 1862 года, и за это ли необходимо нужно мстить Литвинову унижением, преследованием и нареканиями?

Так намечены характеры главных действующих лиц романа, и между этими-то характерами завязывается драма, перипетии которой прослежены автором с подробностью и художнической выдержкой, вынуждающими признание у самых строгих его судей. Ирина Ратмирова и Литвинов идут друг на друга не просто быстрыми шагами: это каждый раз смертельные встречи, оставляющие после себя изумление с обеих сторон и вопрос – какая сила выносит их из беды? И несмотря на это, несмотря на самые решительные доказательства взаимной страсти, сойтись действительно друг с другом они не могут. Автор не пропустил без внимания ни одной из тех нравственных препон, которые образуют бездну между ними, и картина их бесплодных усилий к насто-

ящему сближению, помимо разделяющей их бездны, выходит у него так жизненна и верна, что неразрешимый вопрос, составляющий ее содержание, волнует читателя, как будто он был его собственный. Когда не удались им все попытки отыскать связь, которая не уничтожала бы возможности существования для одного из них, или не приводила к верной гибели обоих, – они, измученные и полуживые, расходятся в разные стороны, и каждое лицо возвращается опять в свою сферу, откуда недавно вынес его слепой случай. Море, кипевшее так бурно сейчас, затягивается снова невозмутимой тишиной. Никаких признаков или остатков кораблекрушения на нем не видно. В голову приходит мысль – да полно, и было ли тут что-либо похожее на крушение?! Роман кончился, достигнув все своих целей. Перенесите историю, рассказанную им, из любовной сферы в другую общественную сферу – это будет история множества явлений социального порядка, происходивших на наших глазах, история проектов, предприятий, начинаний, родившихся из тех же побуждений и случайностей, которые управляли Ириной и Литвиновым, представлявших такую же незаконную помесь, ряд таких же усилий до чего-либо договориться, и также разлетевшихся «дымом», при первых попытках их осуществления.

Но мы не можем расстаться с романом, не сказав еще одного и последнего слова.

Из всех суждений, возникших по поводу «Дыма», наибольшего внимания заслуживает то, которое называет роман

не вполне справедливым. В основание этого мнения положены следующие соображения. Автор, взявшийся за изображение нравственного быта нашего, представляет одну только сторону его, менее важную, и забыл о другой, существенной стороне его, которая одна только надлежащим образом его и выражает. Пускай не отговаривается он тем, что имел в виду положение дел и умов в 1862 году, когда много задач, теперь приводимых в исполнение ею, еще не стояли не очереди. Понимание этой серьезной стороны общественного быта нашего должно было все-таки сказаться в духе и настроении романа, но оно там на сказалось. Роман несправедлив и потому, что в своей характеристике лиц и партий умалчивает о важных заслугах обществу, сделанных некоторыми из них, и поддается искушению представлять их на основании уже обветшалых воззрений на их дело. Затем, в романе есть черты, позволяющие думать, что автор заподозревает даже духовную сущность русского народа, его силы и способности, умевшие создать, однако ж, наше громадное государство. Вообще, на последнем произведении Тургенева лежит отпечаток того отрицания, которое можно назвать *заграничным* отрицанием русской жизни и которое разнится с домашним, туземным ее отрицанием тем, что боится малейшей живой и свежей черты, так как всякая подобная черта уже не укладывается в отвлеченное, мертвое, застывшее представление русских порядков и должна быть устраняема им, для собственного его спасения, всеми силами и

средствами.

Мы не умалили, кажется, смысла возражений, на которые намекали уже и в начале статьи. Теперь приходится к слову разобрать их подробнее. Допустим, что они все, без исключения, справедливы и верны, но остается еще узнать – возможно ли было автору, памятуя вышеприведенные наставления, написать не только художнически-полемический роман, как он это сделал, но выразить просто какое-нибудь личное мнение о вопросе нашего внутреннего строя, не прибегая при этом к форме застольного спича, обязанного помянуть добром всех присутствующих. По горячности и искренности, с каким написано произведение, можно почти безошибочно заключить, что автор, создавая его, имел в виду сказать нужное слово, по его мнению, для нашей эпохи. – Найдутся, конечно, люди, которые ни этого и никакого другого слова не согласятся признать нужным, как только оно отвлекает внимание публики от них самих; но мы можем противопоставить им другую массу людей, считающих роман автора не только замечательным литературным произведением, но и благородным делом, сделанным в самую настоящую, потребную минуту. Как же делаются все такие дела? Отличались ли они когда-нибудь тем родом отвлеченного беспристрастия, который требуется точным смыслом возражений, сейчас приведенных. Любопытно было бы ознакомиться хоть с одним примером такого воображаемого беспристрастия, когда у писателя или вообще у публичного дея-

теля зародилось намерение отвечать, по мере своих сил, призыву общества и помочь ему в сознании своих случайных, преходящих или хронических, застарелых болезней. Не думаем, чтобы скоро мог отыскаться пример сухого, невозмутимого беспристрастия при таких условиях, да оно просто и несовместно, по нашему крайнему разумению, ни с какой мало-мальски серьезной задачей мысли. Покуда мысль эта вся покорена стремлением достичь общепользующей цели, она не может глазеть по сторонам, приветливо раскланиваться с явлениями жизни, стоящими на ее дороге, как бы они знакомы ни были ей: она оставляет их все на своих местах, без внимания, торопясь исполнить свое главное призвание. Если явления эти действительно обладают нравственной силой и имеют будущность, они найдут себе путь рядом, обок с движением посторонней им мысли, и в своем роде будут неизбежно поступать точно так же, как и она. Это закон существования для стойких идей и сильных убеждений, и трудно представить себе, какие благоприятные последствия могли бы выйти из ограничения или поправки закона условиями мечтательного беспристрастия – разве только он предназначался бы в новом своем виде на то, чтобы ослабить энергию деятелей и лишить их на полудороге сил для достижения своих целей. Абсолютное беспристрастие есть достояние и принадлежность одних только правительств – только от правительств и можно ожидать кого и требовать; да и то, уравнивающее действие органов государственной власти об-

наруживается тогда, когда частные стремления вполне высказались и определились, без утайки, как и без потаенных сделок между собою и подозрительных соглашений. Вообще, различные направления тем честнее и тем более приобретают значение, чем ярче отделяются от других смежных с ними. В природе их, так сказать, лежит уже потребность жертвовать всеми пунктами соглашения с противниками, какими только пожертвовать можно, да и к оставшимся затем они приближаются еще нехотя и с большими предосторожностями. Это не значит распадение общества на враждебные лагери, потому что у всех дельных направлений всегда одно связующее начало – благо и сохранение страны, которое в известные великие минуты ее истории и заставляет их всех говорить одним и тем же голосом. Но без перечисленных теперь условий частной деятельности общество обращается в безличную смесь элементов, топкую, не способную ничего выдержать и обыкновенно заваливаемую чем ни попало, когда кому-либо приходится на ней строиться. Нужды нет, если писатель сам в глубине своей совести почувствует несправедливость, сделанную им в пылу работы: она ему простится и благоразумнейшим из его противников, если помогла обнаружить свойство и сущность его мысли. Обидчиков и обиженных рассудит затем общественное мнение, время и свидетельство – неумышленное свидетельство самих обстоятельств, окончательно подтверждающих или опровергающих всякое обвинение: это судьи надежные.

До какой степени несостоятельно в литературном деле требование отрешенной от жизни, мелкой справедливости праздных или равнодушных людей – можно составить понятие, позволив себе весьма небольшое усилие фантазии. Пусть вообразит кто-нибудь, хотя на одно мгновение, роман нашего автора в той форме, которую он непременно получил бы, если б написан был по рецепту этой справедливости. Что, если бы каждое из его резких, метких и горячих определений нашей современности сопровождалось вежливой оговоркой, наполовину уничтожающей смысл и значение прежде сказанного? Что, если бы рядом с картиной безобразного явления в том или другом кругу общества, предложено было читателю и посильное утешение в противоположном примере, там же отысканном, или, наконец, – если бы под каждым указанием романа обретался приличный комментарий, предупреждающий опасность недоразумений и принятия кем-либо на свой счет дурного намека, не ему адресованного? Справедливость была бы полная, автор избавился бы, наверное, от всякого нареkania, но что случилось бы с его романом? Вместо художественной картины, тревожащей теперь нашу мысль и воображение, мы имели бы подобие пансионного менюэта, где все сходятся и расходятся по рисунку, никогда не задевая друг друга. А между тем, в словах возражателей слышится отчасти нечто подобное такому требованию справедливости, конечно, не обнаруживающему в них ни громадного политического смысла, ни осо-

бенно глубокого понимания условий творчества.

Что же касается до предположения, что автор потерял чутье разнообразных задач, за которыми трудится современное наше общество, что он не видит и лишен возможности видеть восход солнца, которое начинает прогонять тени прежнего застоя и возбуждать повсюду новую жизнь, что он глух к голосу замечательных людей, вынесенных вперед движением проснувшихся общественных сил, — то мы оставляем предположение это на совести тех, кому оно принадлежит. Нам кажется наоборот, что единственная и исключительная причина создания романа может быть отыскана именно только в страхе за судьбу многочисленных элементов развития, существующих в нашей стране. Роман их хорошо знает, потому что всем своим содержанием и общим тоном изложения направлен против настоящих, действительных помех, которыми усеян их нынешний путь. Правда, избегая пошлости, он не перечисляет доблестных приобретений последнего времени, но он только их и имеет в виду, когда показывает дикие силы, еще теснящиеся и гарцующие вокруг молодых зачатков нашего развития, когда говорит о всем том, что, по его мнению, отводит глаза кажущимся достоинством и величием представлений от прямых условий этого развития. В том и положительная сторона романа, которую так напрасно ищут его ценители.

Никогда произведения подобного рода не писались и не пишутся для возбуждения цинического хохота над всем

строем народной жизни: надо уметь различать сквозь художественную форму их ту степень понимания настоящих нужд этой жизни и благорасположения к ней, которую они, несомненно, заключают в себе.